**«СНИМИ С МЕНЯ УСТАЛОСТЬ,**

**МАТЕРЬ СМЕРТЬ»**

**Глубины Чичибабина и Баратынского**

Кто из нас имел хоть смутное представление о собственном грядущем?

О своей смерти?

Я, тщась вообразить свою, всё чаще вспоминаю строчки Чичибабина:

Я так устал! Как раб или собака.

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Жизнь тёрла его в шершавых, шероховатых лапах сильно, без жалости, и… делала этого для того, чтобы созвучия, выпускаемые в мир Борисом Чичибабиным, сделались объёмнее, величественнее – так, что ли?

…смерть, воспринимаемая матерью, смерть, чьё имя пишется с большой буквы, феноменальная энергетика стихотворения, введённого в реальность поэтом так, чтобы интенсивней стал метафизический опыт других, и…

Неизвестно, что перечислять, ибо:

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Я не прошу награды за работу,

но ниспошли остуду и дремоту

на мое тело, длинное как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.

Ко мне всего на три часа из суток

приходит сон, томителен и чуток,

и в сон желанье смерти вселено.

Есть уникальная «Смерть» Баратынского, где, демонстрируя почти восточную мудрость, поэт раскрывает предназначение смерти, как мало кому удалось…

Есть этот – феноменальный взрыв усталости Чичибабина: усталости, умножаемой на величие дарования и объёмность восприятия яви: коли Смерть можно так именовать, вероятно, есть и такое зрение, каким можно увидеть феномен её бытования так светло.

Ибо стихотворение – через муку, невероятную боль и тотальную – казалось бы – усталость – светлое…

Оно светлое, ибо за ним – высота понимания: смерть не гасит свет: она зажигает новый, и он должен быть ярче, насыщеннее…

Будто загадка разгадана поэтом, словно – привстав на цыпочки, душой коснулся того, что было закрыто ранее.

На лоб и грудь дохни своим ледком,

дай отдохнуть светло и беспробудно.

Я так устал. Мне сроду было трудно,

что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,

я Бога звал – и видел ад воочью, –

и рвется тело в судорогах ночью,

и кровь из носу хлещет по утрам.

Тяготы тела – лёгкость души – парение духа…

Ибо в тяжёлом, как если поднимать старый плуг, стихотворении со-  
средоточена такая лёгкость, столь сквозная невесомость, что захватывает дух.

И финал: мощно вдвинутый в недра безразличного к поэзии града и равнодушного к ней мира – опаляет сознание волокнами запредельного огня:

Я так устал! Как раб или собака.

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

И – словно страх смерти, подъедающий любую жизнь, ослабляется от звучания подобного перла; точно ленты суетного страха, обожжённые кромешными кошмарами, становятся не такими чёрными, да что там! превращаются в радужные покровы! – коли возможно, используя форму, близкую к совершенству, так глаголить…

Жизнь формовала личность и дар Б. Чичибабина круто, выглядя порой по отношению к поэту чрезмерно жестокой – как знать? – может быть, для того, чтобы прозвучали его самые-самые стихи?

…впрочем, идея, позволяющая толковать страдания как лечебный инструмент Бога – по отношению к нашей душе, – разлетается от вполне возможной максимы: всевидящая и всемогущая любовь, которой должен являться Бог, нашла бы другие формы исцеления душ…

Остаётся вариант метафизической интерпретации, словесно виртуозно исполненной Даниилом Андреевым: и страдания, и смерть не являются результатом торжественных и колоссальных деяний Бога: но –   
следствием сопротивления ему сил тьмы…

Легче ли от этого нам, умирающим?

…задолго до Чичибабина скорбный, мудрый Е. Баратынский вещал:

Смерть дщерью тьмы не назову я

И, раболепною мечтой

Гробовый остов ей даруя,

Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!

О светозарная краса!

В руке твоей олива мира,

А не губящая коса.

Мнится – есть нечто общее в звуковой оснастке поэтов: вибрации предельных высот, толкование смерти…

Баратынский смотрит в такие глуби, куда редко отважится заглядывать человеческий ум.

Ум поэта, дисциплинированный стихом, огранённый возможностями великолепных катренов, словно выводит корень квадратный из всех пугающего феномена; и вспоминающийся старый русский философ Фёдоров благосклонно взирает на пространство, занятое широко летящими стихами: Баратынского и Чичибабина:

Одним стихам вовек не потускнеть,

да сколько их останется, однако.

Я так устал! Как раб или собака.

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Никто не называл смерть матерью: никто не писал её имя с большой буквы: и Чичибабин, сделавший это, словно прикоснулся к тайне тайн: с отчаянием и символом эстетики, пусть и не представить последний.

…он, словно кадуцей, зажат в руке поэта.

…словарь Бориса Чичибабина насыщен: как мысль, всегда работающая остро, что биссектриса:

О, дай нам Бог внимательных бессонниц,

чтоб каждый мог, придя под грубый кров

как самозванец, вдруг с далеких звонниц

услышать гул святых колоколов.

Той мзды печаль укорна и старинна,

щемит полынь, прощает синева.

О брат мой Осип и сестра Марина,

спасибо вам за судьбы и слова.

Сия характеристика будет верна и применительно к Баратынскому: в лучших его стихах, а слабых он не дал, – именно эти качества определяют сущность их двухвекового бытования.

Их вечность – ибо невозможно представить историю поэзии никакого удаления без имени Баратынского.

Ибо «Пироскаф» или «Дядьке-итальянцу» забираются в такие глуби, что веет космосом Данте…

И, словно волшебно перекликаясь, совершенно непохожие поэты столь различных времён представляют панорамы себя, космоса, себя в ощущении космоса бытия и запредельности так полно и словесно роскошно, что остаётся радоваться своей принадлежности к языку, открывающему – через лучших поэтов – такие глубины.